

ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ

ИЗ САНАКСАРСКОГО МОНАСТЫРЯ...

СУДЬБЫ, РАЗМЫШЛЕНИЯ, НАДЕЖДЫ

Санаксарский монастырь расположен на кромке мордовских лесов. От Москвы шестьсот пятьдесят километров, от ближайшей железнодорожной станции восемьдесят. Глушь? Но для монастыря, где творится несуетная молитва, может быть, и неплохо?

Паломнический народ открыл его для себя с начала девяностых, когда монастырь был возвращен Церкви. Богомольцы знали его, потому что слышали, что тут усердно молился и возрождал его в давние времена преподобный Федор, погребенный у стен храма со своим племянником, великим русским адмиралом Федором Ушаковым.

Я приезжал туда в девяностых, готовя второе издание книги об Ушакове в серии ЖЗЛ. Для моей жены Светланы Санаксарский монастырь, как выяснилось, представлял всю жизнь неким сказочным городком, куда из тамбовской деревни Селище приезжала в далекие предреволюционные годы на богомолье ее мама, Анастасия Алексеевна. В девятьсот двенадцатом году девочку Настю увезла в далекий Николаев соседка помещица то ли в услужение, то ли для наущения. Революция, гражданская война, все потрясения двадцатого века не позволили Анастасии Алексеевне возвратиться в тамбовское Селище, ставшее к тому же уже селом в Мордовии. Во время войны, в оккупации, в доме у Анастасии Алексеевны жили десять девушек-санитарок из госпиталя, не успевших уехать с нашими из-за стремительного наступления немцев. Светлана по вечерам часто слушала, как мама, утешая и ободряя девушек, рассказывала им про свое детство и сказочный монастырь. Всю последующую жизнь она хотела посетить его. Не привелось. А дочь смогла.

Я тоже приехал туда в те годы, когда монастырь представлял скорее некое разрушенное крепостное сооружение с проёмами в проломанных стенах, кучами мусора и пустыми глазницами окон монашеских келий. Сказочным сооружением тут и не пахло. Мерзость запустения? Да нет, возрождающийся после разорения духовный дом. То тут, то там сложенные штабеля досок, кирпича, горы песка, мешки с цементом. В первое же посещение я узнал и увидел, что народ паломнический идет под благословение к схимонаху Иерониму. Подошёл и я, обуреваемый не то чтобы сомнениями, а точностью и истинностью аргументов, которые я вырабатывал, готовя письмо Святейшему Патриарху о святости Фёдора Ушакова. Монах благожелательно посмотрел на меня, перекрестил, положил руку на голову и тихо сказал: "Молись, Валерий..." Внучке же моей Насе светоносный монах надел свой крестик на шейку. Эта встреча

немало значила для нас. Владыка Мордовский и Саранский Варсонофий благословил тогда меня на пространное письмо о духовных подвигах адмирала Святейшему. Ну а дальше было понятно – все решалось на Небесах, в обсуждениях священноначалия, в комиссии по канонизации, при усердных молитвах братии монастыря. Молитва Иеронима тогда много значила. Некоторые монахи сомневались, что произойдет прославление адмирала: “Воевал всё-таки”. Иероним не сомневался: “Воевал, но ведь за други своя, за веру христианскую, а в жизни проявлял милосердие и благотворительность, молился постоянно и наставлял делать это своих моряков”.

Когда в августе этого года я приехал в очередной раз в монастырь, сразу после шумного юбилея, то был и у места упокоения Иеронима в часовенке над его могилой. Постоял, помолился в одиночестве, обычно тут бывает множество богомольцев, которые стоят на коленях, целуют крест и берут земельку с могилы. Сегодня был всего один, заросший, в потертой одежде, но отнюдь не опустившийся человек. “Давай исполним памятную молитву”, – предложил он. Исполнили. Я дал ему денег, он пожал плечами, но взял. “Помолюсь в дороге”. “Отче Иерониме, моли Бога о нас!”

В тот послеюбилейный день мы выехали в четыре вечера из Москвы в Санаксары. А ведь надо успеть почитать молитвы, каноны и правило к причастию. Слава Богу, мы успели. До двенадцати разместились в паломническом доме. И утром, в полвосьмого исповедь. Хотя день рабочий, народу много. Исповедуемся у храмового входа. Торжественная и возвышенная служба во славу преподобного Федора и святого праведного адмирала Федора Ушакова. Вместе со всей братией идем после литургии на трапезу. Я в конце трапезы отчитываюсь о делах, посвященных Ушакову: Севастополь, Кронштадт, Волгоград, Москва – везде проходили встречи, молитвы во славу святого праведного, детские конкурсы, даже снимается фильм. Закончилась трапеза. Короткий разговор с настоятелем Варнавой. Он весь в хлопотах. А хлопоты невероятных масштабов и сложностей.

Тогда, в 90-х, после первого посещения, мне казалось, понадобятся годы и годы, чтобы Санаксары приобрели монастырское обличие. Но когда приехали на прославление в две тысячи первом году, то ахнули. Монастырские стены, храм, колокольня, братские корпуса расцвелись всеми цветами радуги. Все как-то выстроилось в единый ансамбль, обозначилось торжественно-высоким стилем. Всё было благолепно и возвышенно. Православная Мордовия, ее руководители и верующий народ возносили святых России на достойное место поклонения. Но это же надо содержать, за всем надо ухаживать, всё украшать. А главное, денно и ночью должны не утихать молитвы, вершиться служба, окормляться верующие. А они притекают из разных мест России. Приезжают многочисленные нынче паломнические экскурсии. Санаксарский монастырь стал местом историческим. Это единственное место в православном мире, где покоятся мощи святого праведного моряка, адмирала “в погонах”. Все помещенные православные церкви молятся у его икон. И на всех военных кораблях есть икона святого адмирала.

Вот и сегодня после обеда приехала большая делегация из Сарова, из самого закрытого ядерного центра России. Там новый директор. Прежний же, наш старый друг академик Радий Иванович Ильяев остался в качестве научного руководителя центра. А почему старый друг-то? Да потому что в те погромные девятые, когда сокрушалось под видом борьбы с тоталитаризмом немало ценного, государственно всеохватывающего в нашей жизни, в науке, в промышленности (казалось, что и атомную бомбу, научные разработки по ее созданию и совершенствованию вот-вот приватизируют), то честные, принципиальные, мудрые и державные ученые восстали. В их союзниках оказался и Всемирный Русский Народный Собор, который провел специальное заседание с тем, чтобы защитить атомный щит державы. В Сарове же было учреждено отделение Всемирного Собора. Радий Иванович его возглавил, напоминая о великом русском треугольнике Саров – Дивеево – Санаксары. Некоторые ученые глубокомысленно тогда говорили: “В этом треугольнике смещение земной коры, отсюда истекают свои токи, поэтому такое духовное и всемирное возвышение в этих местах”. Ведь не зря: мировой атомный центр, не случайно молился тут за нас, стоя на камнях, Серафим Саровский, а рядом два Феодора прокладывали свой путь к святости. Не знаю, как насчет земной коры, но то, что Богом эти места отмечены, это уж точно.

Вечером мы уехали из монастыря и оказались в гуще лесов в Центре отдыха детей-саровцев, в детском лагере имени Гайдара. Там с дружелюбием, со стихами, с вкусными котлетами, с детским, почти пионерским приветствием от юных ушаковцев города Темникова, опять юбилейничали. Выезжали рано утром, но мы со Светланой и Таней Петровой решили отоспаться и тронуться с хорошим настроением позднее. В восемь встали бодрые и какие-то счастливые. Да и день начинался светло. Сквозь листву пронизывались лучи, в которых весело кружились мошки, букашки и всякая природная мелочевка. По изящным стволам корабельных сосен гуляли вверх и вниз солнечные блики. Хорошо. Мы сквозь эту небесную и земную красоту шли в столовую, полную послеперестрочечных пионеров, или тех, кого пытались собрать в нынешние детские лагеря сегодняшние заботники о юных.

Второй день мы находились под опекуном высокой, красивой, благожелательной руководительницы клуба юных ушаковцев, что уже несколько лет существует в городке Темникове. Движение ушаковцев разрасталось по стране, и, конечно, где же ему было и начинаться, как не в Темникове, последней гавани земного пути Федора Федоровича. Таня (так назовем заботливого организатора клуба), казалось, воплощала в себе адмиральское спокойствие, уверенность и решимость. Выглядела она женщиной благополучной, живущей в мире и счастливой в семье. Принесла нам рисовую кашу, поставила перед каждым чашку с лагерным чаем. Наши легкие попытки помочь довольно твердо отстранялись: прошу подчиняться. За столом слегка отчиталась: сколько ребят прошло через клуб, сколько поступило в морские учебные заведения. Со многими ездила в Петербург, Нижний Новгород, Москву. Ведь набор в морские училища, да еще военные, сокращается. “Я начальникам объясняю, что ребята от Ушакова, горят желанием быть военными моряками. Суровые капитаны 1-го ранга просят завести претендента. Строго спрашивают: что знаешь про Ушакова? Тот, конечно, чувствовал в этом себя королём. Прерывают: какие флота знаешь? От зубов отскакивало. Наконец: прочитай “Отче наш!” Ну тут наши ребята и “Отче наш”, и “Верую”, и молитву “Святому праведному Феодору”. Начальник замахал рукой. “Ступай, да не порывай связи с родиной”. А еще, — Таня постепенно разговорилась, — я ведь и на окончание училищ, на распределение ездила не раз. “Что, просила, чтобы сюда поближе ребят командировали?” — “Да что вы, вот один окончил все с отличием, могли в Петербурге оставить, а я, по просьбе его деда, ездила упрашивать, чтобы парня на действующую подлодку отправили. Его и отправили, он и сам хотел”. — “Ну Таня, ты тут и командир, и политработник, и игуменья. Все время здесь?”

Она вздохнула, по лицу пробежала хмуринка.

— Нет, мы с мужем, когда перестройка-то началась, из Магадана приехали. Он военный был, демобилизовался, на родину. Деньги у нас были. Решили хозяйничать, тогда в восьмидесятых об этом много говорили, обещали. Мы и верили. Решили дом строить, большую теплицу: овощи выращивать, продавать. Детей рожать. А когда рассада разрослась, кто-то ночью стекла разбил. Все вымерзло, трубы лопнули. Горе. Решили не сдаваться. Завели кур, посадили на яйца, купили цыплят инкубаторских. Опять заморозили, пожгли.

Мы поставили свои чашки, не решаясь спрашивать и сочувствовать. А Таня сама продолжила:

— У меня самая большая женская беда — ребенок умер, кислорода не хватило, свет отключили...

Мы, ошеломленные, притихли, не соразмеряя с ней, сегодняшней, ее беды. Она, с каким-то уже отрешенным взглядом, посмотрела в окно, да так и застыла.

— А муж-то?..

— Да что муж. Уехал в Москву зарабатывать. Кредит ведь надо отдавать. Да там и остался. В Москве женщин много.

Мы опять застыли, не зная, как утешать, сочувствовать, боясь ранить ее душу, еще полчаса назад казавшуюся твердой и незамутненной.

— Второй-то ребенок больной оказался. Зарплата моя учительская мизерная, сына лечить, дом достраивать...

А как? Стала я у окна и смотрю утром вдаль. Что делать-то? Как жить дальше? А там через луга из шума все четче и четче проявляется монастырь, его стены, колокольня. Думаю, что же я раньше смотрела и не видела? Так вот,

оделась, пошла, ничего не видя, прямо через поле. Шепчу что-то, говорю, не знаю что. Потом уже поняла — молитву Богородице читала... В монастыре настоятель руку на голову положил: “Молись, дочка, молись, спасайся! Будешь духовным чадом нашим”. Не знаю, откуда и силы взялись за эти годы, как Федор праведный в меня вошел, как укрепил?

Мы молчали. А Таня, может быть, нас успокаивала, может, сглаживала впечатления от почти непреодолимой драмы — “нас теперь уже трое — еще одного взяла в семью — больного, сироту”. И стала рассказывать, что у нее есть мечта — провести Всероссийский слет юных ушаковцев тут в Темникове.

— Ведь ныне они все чада духовные санаксарские, ушаковские.

Мы, притихшие, придавленные страданиями чужой жизни, пошли к машине.

Расцеловались и не решались сесть в кабину. А Таня, как бы извиняясь, что нам принесла боль, уверяла, что слет обязательно проведет и скоро снова поедет в Москву и Петербург в училища. На том и порешили.

Через лес, вырываясь на трассу, ехали быстро и молча, и только в самой гуще остановились у громадного щита, где, казалось, можно было увидеть, что необходимо охранять лес и природу. Лозунгов о единстве партии и народа давно уже не писали, а восклик “Россия, вперед!”, звучащий на митингах молодежи, в мордовских лесах как-то был не актуален. Но зато, по мнению районных начальников, здесь, в чащобе, как нигде был важен и современен призыв, написанный метровыми буквами: “Люди! Берегите мир!” Возражать было ни к чему, да и в мировых центрах агрессии навряд ли услышали бы это обращение к миролюбивому человечеству. А зайцы, наверняка здесь водившиеся, обращение не читали. Постояли мы, подивились доходчивости наглядной агитации и двинулись дальше.

Солнце уже позолотило сосновые стволы, просушило березки, но в глубь мордовских лесов еще не проникло. Деревья, в основном ели, стоят там плотно, прижались друг к другу, и, кажется, проникнуть туда в чащобу невозможно. Но вот проникают — и не только лучи. Справа и слева возвышаются сторожевые башни огражденных колючей проволокой лагерей. Знаменитые мордовские лагеря! Сквозь них прошло (или загнуло) немало людей. Я осторожно расспрашивал об этих местах у писателя Леонида Бородина. Человек этот для меня — образец несгибаемого русского страдальца и твердой воли. Вот ведь, не сломали его, борца за справедливость и за веру, многие лагерные годы, не пинает он свою — нашу страну, а страдает за нее, старается как-то расширить поле совести и правды. Может быть, не стала при нем “Москва” массовым и громкозвучным журналом, но вы встретите там материалы раздумчивые, отвергающие низость и пошлость, открывающие путь к храму, которому журнал стараниями Владимира Крупина и других посвятил свой, постоянный раздел.

И вот едем мы вдоль этой русской голгофской дороги и задаем себе вопрос: а сейчас? что они, вживе эти лагеря или исчахли, рассыпались прахом, заселились рабочим людом? Да, многие лагеря пустые, но вспоминается цифра, недавно вычитанная в газете: “Заключенных ныне в лагерях на несколько тысяч больше, чем в 1937 году...”

Вот и выехали мы из зоны, выскочили из плотного леса на светлый, голубой простор. Но не на бескрайней степной, а на холмисто-лесной. Зеленые околыши леса то тут, то там огранивали желтеющие нивы, заваленные соломой. Соломы нынче почти не увидишь, все запаковали машины. Саша, наш безотказный водитель, вставляет в проигрыватель диск песен Татьяны Петровой, и мы как бы отделяемся от мира:

*Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..*

И сердце почему-то сжимается, душа наполняется светлой грустью и пульсирующей вдалеке тревогой. А ведь слова простые, понятные, не вычурные. Почему они вызывают ощущения детской и юношеской радости и надежды, ожидаемых перемен? Не раз был свидетелем того, что у тех, кто овладевает русским языком, это стихотворение вызывает восторг. Слушал его в дикой тайге, в многомиллионном Каире, от усердного японца и немного надменного немца. Магия какая-то в этих гармоничных строчках, что ли?

Помню, как на Московском фестивале всем улыбающийся негр с радостью сообщал: “Я говорю по-русски!” В подтверждение спрашивал: “Знаете “Белеет парус”?” И, не обращая внимания на нашу снисходительную улыбку, декламировал, а в конце развел руки и с удивлением и даже укором воскликнул: “Увы! — и после паузы, несколько озадаченно, глядя на нас, закончил: — Он счастья не ищет. И не от счастья бежит!”

Мы пожали ему руки. Молодец, Кваме!

А тут в центре Руси “Парус” прошил нас пронзительным Таниным голосом, связал с березовыми рощами, взметнувшимися вверх соснами, бугристыми полями. Песни вырывались одна за другой. И что за радость, что за счастье, когда песня, слова ее, мелодия сливались с пронсящимися мимо окон лучами, пронизывали лесополосу, вонзались в облака, возвращались оттуда светлым дождичком. Тут соединилась песня и природа, лес хороводил, колося разворачивались к песенному звуку, как к свету. И вместе вливались в мир России.

Вот так, наверное, представляется она, Россия, в этом сочетании цвета, света, природы и звука. Мы, воспитанные на советском кино (замечательно написал об этом в своей повести “Послевоенное кино” Юрий Михайлович Лошциц), помним, не знаю уж из каких фильмов, эту слитность просторов и музыки страны, ее природы, лиц ее людей. Что созвучно нашей Родине в современных фильмах? Не знаю! “Ангел мой” — трепещет жаворонком над полями тютчевский романс, а затем не часто слышимая драматическая кантата Прокофьева “Мертвое поле” из фильма “Александр Невский” приводит наши чувства в драматический торжественный строй. А за стеклами машины тянулись какие-то знакомые с детства картины. Вот он, наш русский пейзаж! Широкие поля, взбегающие на холмы рощицы, а по горизонту синевато-лазурные гребешки лесных массивов. Поэт Владимир Костров считает описание пейзажей одним из главных художественных достоинств русской литературы.

Ну и действительно, как нам без пушкинских “Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало, Короче становился день, лесов таинственная сень С печальным шумом обнажалась, Ложился на поля туман, Гусей крикливых караван Тянулся к югу: приближалась Довольно скучная пора, Стоял ноябрь уж у двора”; без лермонтовских “Но я люблю — за что, не знаю сам — Ее степей холодное молчанье, Ее лесов безбрежных колыханье, Разливы рек ее, подобные морям”; без толстовского дуба, без шолоховской ковыльной степи, без тургеневского Бежина луга, белой березы под окном Есенина, без Матеры Распутина, Тимонихи Белова, рубцовских холмов, на которые взбегал поэт. Ведь без них Россия — Сахара. А поэты и писатели запечатлели их в сознании соотечественников, ввели в ранг национальных ценностей и святынь, сотворили уже, как ныне говорят, виртуальный, а на самом-то деле одухотворенный облик России. Действительно, какие там пейзажи в Люксембурге, Голландии, да и в Англии — подстриженные лужайки да газончики — это, скорее, таблица умножения.

И дальше уж наша беседа протекала вокруг песни. А русская песня — это тоже наша великая русская святыня. С ней боролись так же, как Емельян Ярославский с церковью, изничтожали, извращали, подменяли. Страна наводнилась скороспелками, бодренькими маршами, и лишь Великая Отечественная война снова вызвала русскую песню к жизни. Гениальная песня-оберег “Священная война” породила новые духовно-возвышенные, драматически-героические, лирически-романтические песни. Тут и “Бьетса в тесной печурке огонь”, и “На солнечной поляночке”, и “Шумел сурово брянский лес”, и “Под звездами балканскими”, и “Броня крепка...” А позднее: “Где же вы теперь, друзья однополчане”, “Враги сожгли родную хату”. Хор Александрова, хор Пятницкого, “Березка” были известны всему миру, эталоном песенной культуры были Архангельский, Воронежский, Уральский хоры. Страна пела свои песни. Каждый вечер в 19 часов 15 минут по всему Советскому Союзу по всем радиоточкам разучивались народные песни, песни Великой Отечественной. И вдруг всё рухнуло... На Васильевском спуске поют заезжие рок-музыканты и звучит всякого рода попса, в эфире осталась одна передача народной песни “Играй, гармонь!”. Лишь весь израненный многолетней борьбой Виктор Захарченко прорывается со своим выдающимся Кубанским народным хором на главную концертную площадку страны — во Дворец Съездов. Уход народной песни из жизни страны лишил ее духовного жизненного кислорода тради-

ций и самосознания, вековечного звука и движения. Клеточки сознания и души нашего молодого человека заполнили ритмы Флориды и Техаса, мелодии лондонских предместий, дискотек Амстердама и Гамбурга. Он перестает быть русским и россиянином, он не знает наших песен, он не умеет их петь.

Помню одну поездку в 80-е годы, когда я возглавлял молодежную делегацию в Америку. Там нас попросили спеть наши песни. Ребята из Армении затынули свой мотив, два украинца и я пропели “Повий витру на Украину”, а москвичи и питерцы так ничего и не вспомнили. Американские хозяева подсажали: “Калинку” – ребята не знали, “Очи черные” – тоже.

– Давайте хоть “Подмосковные вечера” – предложил я со злостью. Без поддержки всей делегации и не пропели бы. Хороши соотечественнички. Да и соотечественнички ли? Так, граждане мира второго сорта. Таня Петрова рассказала, что в Японии в музыкальных школах обязательным правилом является знание десяти русских песен, как самых совершенных мелодических и гармонических образцов. Можем мы таким знанием похвалиться? Знает ли наш ученик десять народных песен, может ли их исполнить? Ясно, что нет. Великая черная дыра образовалась в музыкальном облике России. А еще недавно, в 50–60-х, в каждой нашей школе были хоры, классы соревновались в пении. Вузовские хоры были центрами музыкальной культуры в городах. Да и я-то познакомился с моей Светланой в Николаеве, когда в самой (!) “Правде” появилась ее фотография, на которой она дирижировала хором школьников.

Вспомним, что Прибалтика уплыла из Союза на крыльях национальной песни. Все восхищались тогда в 70–80-е годы массовыми песенными праздниками в Эстонии, Латвии, Литве, проходившими на самых больших стадионах этих республик. Как на рабочих маевках перед революцией 1905-го и 1917 годов готовились боевые дружины большевиков, так и на прибалтийских песенных праздниках будущие лидеры сепаратизма готовили массы к национальному единению и сопротивлению центру через песню. А центр, то бишь кремлевская партийная Москва, цикала на любую попытку соединять русский славянский народ песней, культурой, духом. Все, кто это пытался делать, обвинялись в “неклассовом подходе”, в шовинизме, как это сделал в своей программной антирусской статье “Против антиисторизма” будущий архитектор гибельной перестройки Александр Яковлев. В результате этих усилий так и остались мы без великой державы и с загнанной в гетто русской песней. Что-то сейчас начинает шевелиться снизу, с районного центра, небольшого городка, епархиального хора.

Да, епархиальные, церковные хоры стали важными центрами возрождения музыкальной культуры, культуры пения. Это подлинное чудо, когда поет хор Троицко-Сергиевой лавры, Сретенского и Свято-Данилова монастырей. Всегда возвышает, пронизывает трепетным чувством Смоленский хор в Успенском храме. В Ярославле мы услышали небольшой хор дьяконов. Какая торжественная возвышенность в молитвенном пении! И как спели они сердечно и памятно уже в трапезной “День Победы”!

Епархиальный белгородский хор владыки Иоанна подарил нам вместе с Татьяной Петровой цикл духовных песнопений, русских романсов и песен. Мы и насладились им в дороге. Вот так надо возрождать русскую культуру – с помощью отечественных талантов и церкви.

Спасибо губернатору Белогорья Евгению Степановичу Савченко, что спешествовал появлению на свет этого диска.

В Липецке во время Всероссийской встречи писателей на ее открытии выступал замечательный липецкий народный оркестр вместе с Татьяной, выступала она и во время Прохоровских чтений в Белгороде. Там и родилась идея 2010-й год сделать годом народной песни, так же как был объявлен в свое время Год русского языка. Не так уж много удалось сделать тогда, но все-таки продвинулись, частично остановили беспредел в коверкании русской речи, возродили букву ё, поставили памятник русскому слову в Белгороде, провели сотни вечеров, встреч и конференций, посвященных русскому языку.

Может быть, прямая заинтересованность общества всколыхнет наши районные низы, вызовет к жизни энтузиастов народной песни, создаст певческие клубы, кружки, организует просто спевки у костра, у дома. Дорогие друзья, или мы запоем свои песни, или народ наш растворится в чужеродной мелодии, а значит, в чужих мысли и духе.

...Выехали на федеральное шоссе Самара – Москва. Через десять километров любопытнейшее поселение с названием Умет. Населения здесь немного, зато вытянувшихся вдоль шоссе кафе, столовых, пристойных бistro, таверн, трактиров, забегаловок, шалманов не меньше сотни. У всех зазывающие названия, свидетельствующие о хозяине, его темпераменте, национальной принадлежности, умственных способностях, начитанности или безграмотности. Всё и вся есть в Умете. Тут и “Хата”, и “У тещи”, “Возьми сто”, “Заверни-отдохни”, “Золотые тополя”, “Ням-ням”, “Наташа”, “Валя”, “Вика”, “Миша и Вася”, “Полянка”, “Сергеа”, “Вечный зов”, “Пуп земли”, “Солнечная долина”, “Веселые ребята”... Все это немного напоминает американский Дикий Запад, или, возможно, шишковскую “Угрюм-реку” периода золотой лихорадки. Только где же здесь золото-то? Но при всем при том – это какой-то порто-франко, свободная территория питания дальнбойщиков и всех автомобилистов!

Тут мы когда-то познакомились с Сано, армянским богатырем, который гордо назвал своим именем кафе-бар. Сано был тот человек империи, который в свое время свободно мог по ней перемещаться, иметь в ней свое место, чувствовать себя равноправным гражданином всего Советского Отечества и в то же время быть гордым представителем своего народа. Сано родом из Армении, а мне не раз удавалось быть в этой горной красавице стране. У меня, как и в каждой союзной республике, было там немало друзей. Красоту страны и душу ее людей мне помогли увидеть Мартирос Сарьян, Грант Матевосян, Вардгес Петросян. Я знал их, встречался, рассказывал о них, издавал их книги. В венах у многих моих друзей текла армянская кровь, и они были поистине великими гражданами Советского Союза и России. Это и мировой путешественник и полярник Артур Чилингаров, и Серафим Карпович Царукьян, один из выдающихся советских военных строителей. Не раз встречался и беседовал с легендарным маршалом Иваном Христофоровичем Баграмяном, который, говорят, когда к нему присылали на фронт пополнение, требовал: “Чтобы славян было больше половины”. Мне это заявление напоминало слова одного знакомого капитана: “Знаешь, как я в атаку призывал?”. – “Может быть, за Родину, за Сталина?”. – “Нет, я высказывал из окопа и кричал: “Вперед, славяне!”

Призыв, конечно, интересный, особенно если учесть, что капитан по национальности был татарин. Не в наших обычаях иронизировать над инородцем, пошутить можно, но больше над собственной российской расхлябанностью, протестом и непутевостью. А вот с армянскими шутками мы тоже многие годы были знакомы. В 60–70-е годы “армянское радио” было знакомо всем: “Что такое дружба народов?” Армянское радио отвечает: “Дружба народов – это когда армяне, русские, украинцы, узбеки, киргизы, молдаване, все мы собираемся и идем бить грузин”. Шуточки, конечно.

А вообще не очень-то мы раздували национальные отличия. Чувствовали себя своими среди всех народов Союза. Даже за границей легко находили общий язык. Так случилось со мной в 70-х годах. Я, как издатель, оказался на празднике газеты “Юманите” в Париже. В то время это был массовый, жизне-радостный, бурлящий праздник левой печати и, несомненно, праздник трудового люда. Мы повыступали, подарили свои книги, молодежные журналы, и нас пригласили поехать в приморский город Бордо, где хозяйкой одного из рыбных ресторанов была сочувствующая коммунистам армянка. Ресторан был отменный, я с отвагой пробовал все морские неизвестности. Омар? Почти краб. Едим. Нет, дорогой гость, его надо щипчиками. Да, но не отщипывает-ся. Ладно, попробуйте это... Какие-то маленькие улиточки. Их вот этими булавочками надо доставать. Да не доставать, а выковыривать. А вот и легендарные устрицы, без которых Францию нельзя и представить, ну, например, как Украину без сала. Устрицы с белым вином понравились. Насытившись, мы стали расспрашивать хозяйку, как она оказалась во Франции. В 1915 году, когда турки устроили геноцид армян, ее семья сбежала сюда, и она тут живет более шестидесяти лет. Была ли в Советской Армении? Нет. А наших армян знаете? Конечно! Ну кто, например, Хачатурян? О, это великий композитор! А Амбарцумян? О, это великий ученый! А Тигран Петросян? О, это великий шахматист. А Микоян? (Разговор велся через переводчика, а тут перевод не понадобился.) Хозяйка прищурившись, радостно произнесла: “О, сэ гранд ренар!” (Это великий лис!). Мы с пониманием улыбнулись, ибо поговорка о Микояне

во времена Брежнева “От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича”, – была всем известна. Хотя люди, сведущие в политике, могли только повосхищаться долголетием “политического тяжеловеса”.

...Обо всём этом вспомнилось, когда мы подъезжали к заведению Сано. Почти десять лет по пути в монастырь и обратно мы останавливаемся у этого бывшего чемпиона Советской Армии по самбо, выброшенного волной распавшегося Советского Союза сюда, на кромку мордовских лесов. У него всегда были сочные кебабчики, ароматная долма, великолепные помидоры и снимающий утомление мацони. Плакат с победоносным боксером-чемпионом украшал его харчевню. Прежде рядом висели фото обнаженных девушек. После того как мы рассказали ему про Ушакова и подарили небольшую икону, девичьи со стенок исчезли. Сано был неизменно радушен и гостеприимен, своим знакомством с московскими гостями гордился, просил не забывать. Нынче Сано был неузнаваем – сник, согнулся. Да не только сник, глаза потухли. “Вот и жена ушла. Водка до хорошего не доводит, – Сано потрогал голову, – ударила сковородкой и ушла”. Вздохнул. “Наверное, умирать буду”. “Брось, Сано”, – запротестовали мы.

Таня Петрова покачала головой, повела рукой, как бы отводя его горести, и запела: “...Бродяга к Байкалу подходит!” Из кухни вышли женщины, сели напротив Татьяны, глаза их широко распахнулись навстречу песне, руки замерли на коленях, не шелохнувшись, слушали, откуда эта песня, с каких небес явился этот голос в их Умет. Сано не удерживал слез. Байкал своей волной омыл его горе.

Таня пела для него и, наверное, для всех бродяг, всех неустроенных и обделенных... Песня оборвалась. Все молчали, вытирали слезы, Сано тихо выдал: “Спасибо”. Не была ли эта песня живой водой, оживляющей его? Прощались негромко, наказывая, чтобы не отчаивался, не терял надежду. Сано безмолвно кивал и казался не столь обреченным.

P.S. Через год мы ехали той же дорогой. Помолились у двух святых Феодоров Ушаковых, попросили укрепления в духе. И, может быть, главное – создали юношеское движение “Ушаковцы”, о котором мечтала Таня, да и все мы.

...Но Сано мы уже не застали.

Август 2009 г.